

Игорь Шестков "Обновка"

ОБНОВКА

Человека, входящего в семейное рабочее общежитие, расположенное в двух блоках типового панельного девятиэтажного дома на улице Паустовского, встречал алый транспарант, на котором было начертано крупными белыми буквами: ОБЩЕЖИТИЕ СЕРЫЙ СОКОЛ. ДА ЗДРАВСТВУЕТ ГЕРОИЧЕСКИЙ РАБОЧИЙ КЛАСС СТРАНЫ СОВЕТОВ! ПАРТИЯ ЛЕНИНА – НАШ РУЛЕВОЙ!

В правом углу транспаранта неверной рукой какого-то мизантропа было приписано черным фломастером: А ИДИТЕ-КА ВСЕ НА ХУЙ!

В левом углу тем же фломастером кто-то написал СОКОЛ СРАНЬИЙ, Я ТУТ НОГУ ПОТЕРЯЛ и нарисовал рядом птичку, похожую однако больше на обыкновенного воробья, чем на сокола, несущую в клюве маленькую человеческую ногу, волосатую и босую.

Под транспарантом сидела вахтерша баба Нина, равнодушная по-видимому и к транспаранту и к надписям на нем, женщина неопределенного возраста с колючими глазами, небрежно выщипанными и подведенными черным карандашом «по-древнеегипетски» бровями и подкрашенными хной клокастыми волосами. Баба Нина в любое время года парилась в сером ватнике, из-под которого вылезала грубая коричневая юбка, похожая на меджвежью шкуру. Летом баба Нина носила щегольские сапожки «Аляска», подаренные ей бескорыстными искателями ее милостей, а в остальное время – короткие, лоснящиеся валенки непонятного цвета с галошами.

– Пар костей не ломит! – авторитетно утверждала баба Нина. – Тута на проходной сквозняки почки студют! У нас полы холодные, как в мертвецкой. Совсем можно заболеть...

До общежития баба Нина работала сторожихой в Пятой Градской и про полы в морге знала не понаслышке...

На голове у бабы Нины круглилась мохнатая молочно-белая вязаная шапочка с маленьким пятнышком. При ближайшем рассмотрении выяснялось, что это не

пятнышко, а аккуратно пришитая к шапке тряпочка с вышитым изображением розовой кошечки, выпустившей противные круглые коготочки и готовящейся сцапать ими микроскопическую мышку...

Баба Нина встречала всех входящих в общежитие одинаково приветливо: – Гражданин, покажи документ! Пропуск, говорю, покажь! Да не кверху ногами! В десять закрываем двери! У нас тут семьи с детьми живут, а не разиньрот и поелбля!

«Разиньрот» на бабынинином языке означало – «разврат». Что значит мнимосоставное слово «поелбля» читатель может догадаться сам.

...

На девятом этаже общежития, в трехкомнатной «мужской» квартире, в четырнадцатиметровой комнате, выходящей единственным окном на огромный, замызганный и уделанный собаками двор, в середине которого стоял небольшой бетонный сарай с каким-то электрическим и водным хозяйством, к северному боку которого были пришпандорены две телефонные будки, к которым, как ленточки к бескозырке, прилеплялись очереди, состоящие из нетерпеливых и раздраженных людей, жили два шофера – Иван и Митрофан. Оба за тридцать, оба родом то ли из под Анапы, то ли из под Анадыря, оба холостые, крепкие, как все шоферы, оба регулярно пьющие. Иван был повыше и фигурой помощнее, любил и поговорить. Активный человек, активистом на выборах работал. Правда домой к избирателям, как того от него требовали в избирательной комиссии, он никогда не заглядывал. Только галочки в списке ставил. Объяснял он свое поведение так: Ходи, не ходи. Все равно в задней комнате бюллетени нетронутые лежат, как ИМ надо заполненные. А всю макулатуру, что избиратели заполняют, тут же после выборов, не считая – на помойку. Без эмоций!

Митрофан – был поменьше и послабее Ивана, он почти всегда молчал. Даже остановки забывал объявлять в своем автобусе, когда объявлятельная машина сбоила. Вообще, был человеком пассивным. Разве что, раз в месяц на голубятню лазил. Гонял сизарей по сизому московскому небу. Ему эту его пассивность всю жизнь вменяли в вину различные советские начальники. Ставили его на вид. Прорабатывали. А он в ответ только зевал, кивал и даже не оправдывался...

Иван носил по выходным замшевую куртку и гэдээровские джинсы. Митрофан – и на работу и на танцульки ходил в темной мешковатой куртке непонятного покроя, в таких же штанах и коричневых ботсах. Словом, Иван и Митрофан были обычными шоферюгами, только Иван был чуть побойчее, а Митрофан – поскромнее. Жили шофера ладно, как говорил Иван – без эмоций. Не дружили, но приятельствовали. Выпивали вместе. Лежали на своих кроватях, курили Беломор... Иван раздражался иногда потоком непечатных слов, потом замолкал и подолгу смотрел на нечистый потолок их комнаты. Митрофан часто дремал или книгу читал – «Историю древнего мира», учебник для пятого и шестого класса средней школы. И Иван и Митрофан не имели и восьмилетнего образования, были взяты в Москву «по лимиту», водили рейсовые автобусы и терпеливо ждали собственную жилплощадь – комнату в коммуналке в том же Ясенево, которую начальство обещало предоставить каждому из них по окончании десяти лет работы.

– Если не будет выговоров или взысканий!

– Если будешь активно вести общественную работу и регулярно ходить на выборы!

– Во всем одобрять и поддерживать линию коммунистической партии!

– Не давать спуску прогульщикам, пьяницам, летунам, самогонщикам, морально разложившимся тунеядцам и скрытым врагам советского строя!

...

Иван и Митрофан ни с кем не боролись, но разлагались как умели, работали сверхурочно, поддерживали линию, не ввязывались в драки, случавшиеся в общежитии почти ежедневно, к советской власти во всех ее проявлениях относились с народным фатализмом... Как к природным явлениям – горам, ураганам, равнинам или лесам. Не верили, что люди где-то живут иначе. Были довольны своей бессемейной, бестолковой жизнью.

У Ивана то и дело появлялись подружки на стороне. Чаще всего – такая же лимита, как и он, только из женского общежития. Он нелегально жил с ними неделями или месяцами, потом его с позором выгоняли вахтеры или сами же хмельные сожительницы, и он возвращался в свою неуютную, неприбранную мужскую комнату на девятом этаже, к своему неразговорчивому соседу,

читающему учебник истории.

Митрофан и друг не заводил. В его теле не бушевали страсти. Приходил, смертельно усталый после смены, принимал душ, варил макароны, пил чай и ложился на кровать. Перед сном онанировал, тихо сопя и вздыхая, кончал под одеялом, вытирал сперму полотенцем, убирал его в тумбочку и засыпал.

Возбуждал себя Митрофан картинками из того же учебника. Представлял себе страстную Клеопатру, с изумрудным ожерельем на смуглых грудях, прекрасную бледную, в сиреневых шелках, царицу Елену или доисторическую, с открытой волосатой грудью, похожую на гориллу, женщину с огромной корявой дубиной, австралопитечку с иллюстрации к статье – «Высшие приматы в пустыне Калахари – роль труда в становлении человека».

Этой женщине Митрофан дал зачем-то странное имя – Мончичи. Когда Иван отсутствовал, Митрофан громко говорил с Мончичи в своей комнате, рассказывал ей о проделках пассажиров в его автобусе, жаловался ей на погоду, на механиков, на начальство, желал ей спокойной ночи...

Изредка Митрофан пытался разобраться в себе, понять, что же он все-таки сам за существо. Напрягал память, пытался что-то хорошее вспомнить, о чем-нибудь важном подумать, что-то сам для себя решить, но ничего на ум не приходило, кроме Мончичи. В голове у Митрофана было какое-то зудящее марево. В ушах часто звенело и стрекотало. Тысячи потусторонних кузнечиков покрывали своим стрекотом его жизнь, как снег – московские улицы...

...

Соседями Ивана и Митрофана по квартире были три толстых казаха – Бактыбай, Бактыгерей и Балабек, тоже шоферы, и живущий один в крохотной комнатке ловкий старичок Урмантай Урмантаев, слесарь. Иван и Митрофан звали его дядя Урма, относились к нему «без эмоций», иногда приглашали его третьим.

Казахи с соседями не общались. Жили какой-то своей жизнью. Пели вместе что-то заунывное по вечерам. Младший, двадцатипятилетний Балабек заходил иногда к русским соседям и спрашивал: Иван-Митрофан, бутылка есть?

Иван отвечал ему лениво: Нет водки. Ты, эта... Без эмоций! Сходи на перекресток с Голубинской, там у таксиста всегда купить можно. Пятерик дай, хватит с них, а то они всегда червонец просят. И нам нальешь за совет по

чекушке. Шутю, шутю...

Когда Балабек уходил, Иван замечал горько: Нацмен – он и есть нацмен. Чурка глупая! Шуток не понимает! Целина! Не может водки купить! А баранку вишь крутит, как ты да я. Заебись, вока! Что ты думаешь, Митро?

Митрофан тянул: Да ушшш... Чуркодаавы...

...

Дядя Урма говорил о себе так: – Я православный татарин, волжский болгар, кряшен-кераит, крещеный значит, мой род от Золотой Орда, мой предок – святой Авраам, который колодец рыл. С живая вода. Его убил Чингисхан. У меня в Буинске жена Агдалия... Хочешь перекрещусь? Икону видишь в углу? Казанская... Чудеса делает. Из запоя выводит. Что? Почему Сталин рядом с иконой? Потому что при нем был порядок! Он любил простой человек. Церковь у нас открыл.

О том, что пришлось ему таки при Сталине отсидеть семнадцать с половиной лет по пятьдесят восьмой статье, дядя Урма никогда никому не рассказывал, стыдился. Когда его, девятнадцатилетнего паренька из предместья Казани, арестовали и посадили, он по-русски и говорить не умел. Ему шили политическую статью, а он думал, что его преследуют за то, что на работе инструменты крал на обмен и продажу. Он так всем и говорил в лагере: За плоскогубца пострадал, значит...

А на самом деле его осудили по статье 58-9 за «причинение ущерба системе транспорта, водоснабжения в контрреволюционных целях...». На фабрике трубу прорвало с горячей водой. Оборудование новое залило, обварило рабочих. Чинил трубу Урмантай, за это его и посадили. Вместе со всей бригадой. И хотя по статье 58-9 наказание такое же, как и по страшной статье 58-2 (вооруженное восстание), Урмантая не расстреляли, а дали «десятку». А потом, как и другим, от доброты советской души, «добавили». Вышел из лагеря он только в пятьдесят четвертом. Выжил дядя Урма в лагере, потому что по счастливой случайности угодил в придурки, прислуживал начальнику лагеря, подполковнику-татарину, говорил с ним по-татарски, убирался, стирал и гладил его одежду, подворовывал, жировал, а потом, когда и подполковника арестовали, не колеблясь подписал показания, которые подсунули ему следяки. Если бы он

умел читать по-русски, то наверно ужаснулся бы тому, что подписал – подполковник его обвинялся в том, что собирался передать автономную Татарскую Советскую Социалистическую Республику, вместе с рекой Волгой, со всем населением и полезными ископаемыми – нефтью, углем и доломитами – то ли Римскому Папе, то ли японскому императору, но дядя Урма читать не умел, сам по подполковничьему делу осужден не был и остался в придурках... Любопытно, что по своей прямой специальности – слесаря-сантехника – он не проработал в сталинском лагере ни одного дня.

По выходе из лагеря Урмантай устроился на молочной комбинат в городе Набережные Челны, связался там с православными татарами – кряшенами, ходил в церковь, даже причащался и каялся, но икону свою, Богоматерь Казанскую, умудрился таки в церкви прямо со стены украсть... За несколько лет до выхода на пенсию перебрался за взятку в Москву, работал слесарем в большом гараже, осторожно подворовывал и там... Надеялся, что заживет в столице как король. Но быстро разочаровался. Хотел было вернуться в Набережные челны, но так и не поднялся...

– Что тут в этой ваша Москва делать? Человек – одна сволочь тут. Собаки-народ... Ясенево – один церковь и тот закрыт. Могила-город...

Не чуждый идеям евразийства Иван отвечал ему лениво: – Ты, дядя Урма, монголотатар. Москва ему не нравится! Ты без эмоциев, хунвейбин! Не пугай Европу! Чурка ты, гони на четырех в свою Казань, к твоим пидорам-кряшенам. Там тебе будет хорошо. Заебись, вока!

...

Шестого ноября 197... года Иван пришел домой, в общежитие, радостный, с обновкой. Которую тут же показал Митрофану.

– Митро, гляди, какие ботинки! Саламандер, бля. Почти новые. Полтора года носил хозяин. Кожа-нубук! Такой обуви износу нет! Мелкий ворс! Заебись, вока! Я уже бабе Нине показал, сказала глупая баба, что это козлина. Ну что с вахтерши взять? Какая, говорю, тебе козлина? Сама ты козлина стоеросовая в валенках, эта... кожа-нубук, немецкая работа. К замшевой куртке будет пара! Иван рассказал, что ботинки эти расчудесные подарил ему армянин Назарян, «цеховик и жучище», которому он сегодня, после смены: Кафель ложил в

ванной. А кафель этот я вчера прямо на автобусе с центрального склада увез. Корешки отложили. Голубой кафель. С лебедями. Импортный, голландский. Эластик... Сотенку подкинул и ботинки подарил! Заебись, вока! Армяшка, а богат, как жид! Нацмен, конечно, чурка черножопая, а человек солидный, без эмоциев. Честно расплатился. Руку пожал. И Саламандер вручил. Я их, сказал, только полтора года носил, а им износу нет. Скорее ноги отсохнут, чем такие ботинки поломаются! Бежевая кожа. Нубук! По самой по ноге! Немецкая работа...

Лежащий на своей кровати Митрофан отложил учебник древней истории в сторону, осмотрел ботинки, потрогал коротким большим пальцем толстую мягкую подошву и сказал: – Даа, ушшш, ботиинки...

Иван пошел показывать ботинки дяде Урме.

...

Утром следующего, праздничного дня Иван и Митрофан спустились в Красный уголок, смотреть военный парад. На старом, выдавшем виды, письменном столе стоял цветной телевизор «Темп-711». Вокруг него сидели на поломанных алюминиевых стульях обитатели общежития – рабочие с женами и детьми. Пришли смотреть парад даже некоторые нелегально проживающие в общежитии бабушки и дедушки. Подошла баба Нина в своем ватнике. Спустился и дядя Урма.

Многие курили, в воздухе можно было топор вешать. Пахло перегаром и нечистой одеждой. Дети кашляли. Женщины шушукались, хихикали. Мужчины басили. Старики кряхтели. Бабки потирали себе поясицы, кутались в оренбургские платки... Были и пьяные. Эти городили чушь, хватали за руки, приставали, пытались что-то объяснить. Их вежливо успокаивали. Иван и Митрофан «раздавили» под парад свой первый «пузырь» – бутылку Московской. Закусывали ржаным хлебом, переложенным розоватым салом и маринованными чесночными головками. Сало привезла несколько месяцев назад мать Митрофана, приехавшая повидать сына и отовариться. Уговаривала сына бросить эту Москву и вернуться в их поселок: – Сынок, ты мое единственное утешение, пропадешь ты в этом вертепе. Сколько можно тут на боку валяться? Я тебе и невесту присмотрела. Такая стройнюшенька, Сонечка Простова, помнишь

напротив нас, в бараке бабка Простуха жила? Которая в корыте утонула...

Дразнили ее еще уткой дохлой. Ее внучка.

Митрофан отвечал матери: – Ну, маа... Чего ты...

Маринованный чеснок покупал Иван на Черемушкинском рынке у знакомого грузина Мамука, продавца и известного бизнесмена, хозяина подпольного игорного заведения, необыкновенно породистого человека с тонкими старомодными черными усиками над синеватыми губами, называющего себя карабахским князем. Под белым халатом князь носил кольчугу и небольшой кинжал. Иван говорил про него так: – Вот, Мамук-Карабах! Тоже ведь чурка, а миллионер! Жукастый... Без эмоциев пацан. Зарезать может.

Игорный дом Мамука помещался тогда в гостинице при рынке, а до этого – в деревянной избе.

Избу эту игорную я прекрасно помню. Стояла она недалеко от рынка до начала семидесятых годов. Вечерами и ночами в ней резались в карты на черный нал непонятные нам, детям окрестных домов, люди. К избе этой было опасно подходить – оттуда могли выстрелить. Ночами окна избы светились оранжевыми огнями, за тяжелыми кремовыми занавесками мелькали тени, из избы доносилась неприятная глухая восточная музыка. Милиция – и рыночная и окрестная была куплена на корню и к избе и близко не подходила... Однажды в избе убили какого-то человека средних лет. Труп его, не мудрствуя лукаво, выбросили в окошко. Целый день на его залитые кровью седые волосы глазели с безопасного расстояния прохожие и мальчишки. Только к вечеру приехали скорая помощь и милиция и забрали мертвое тело. В избу санитары и милиционеры даже не зашли.

...

События, показываемые на экране телевизора, общежитская публика комментировала вяло.

Когда генерал армии Говоров доложил о построении участников парада маршалу Устинову и камера показала толпу ветеранов с медалями, кто-то заметил горько: Ветеринары.

Так в те времена дразнили иногда ветеранов Великой Отечественной Войны.

Иван говорил в сердцах: Ветеринар сам не работает, другим работать не дает. И

ворует. Без эмоций...

Устинов объехал войска. У каждого подразделения прорычал свое поздравление.

Казалось, что военные отвечали ему громоподобным лаем. Заиграли фанфары.

Камера показала крупным планом портрет Ленина. Кто-то не удержался и брякнул: Лысый хуй!

Общежитские стукачи тут же приподнялись, вытянули шеи, пытались определить, кто это сказал, но, встретившись с нескрываемо агрессивными взглядами рабочих и шоферов присели, поникли.

Как всегда решительный, целеустремленный Ильич на советской иконе смотрел куда-то влево, вбок, поверх солдатских голов, в сторону Исторического музея, основанного кстати указом императора Александра Второго. Не мог же он смотреть прямо перед собой – там стоял мавзолей, в котором лежало его собственное тело в стеклянном саркофаге. И это предусмотрели кремлевские пропагандисты.

Ильич казалось играл желваками на желчном лице. Что еще хотел этот террорист от России? Почему так тревожен был взгляд его надменной рожи? Догадывался ли он, что советскому строю и самому, созданному им, государству осталось существовать одно, последнее, десятилетие? Или прозорливый статистик уже провидел, в какую гадость превратят его наследники «новую свободную Россию» и тайно ликовал.

Устинов на мавзолее уткнулся в бумажку в небольшой папке и зачитал речь. Камера показала крупным планом стоящего рядом с ним в могучей меховой шапке как будто надутого старика с брюзгливым глупым лицом – Брежнева, потом остановилась на сочащейся высокомерием и подлостью морде Гришина, задержалась на отвратительной мине педофила Сулова, этого советского идеологического доктора Менгеле.

– Ууу, сычуги. – Отозвался кто-то из рабочих.

В конце речи Устинов провозгласил по-старчески грозно: – ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, РУКОВОДЯЩАЯ И НАПРАВЛЯЮЩАЯ СИЛА СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА! СЛАВА ВЕЛИКОМУ СОВЕТСКОМУ НАРОДУ, СТРОИТЕЛЮ КОММУНИЗМА, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМУ БОРЦУ ЗА МИР ВО ВСЕМ

МИРЕ! УРА!

И Красная площадь и вся огромная советская страна, раскинувшаяся громадным бычьим цепнем от Пскова до Владивостока ответила этому дебильному призыву ревом одобрения.

Рабочий класс в Красном уголке общежития «Серый сокол» промолчал. Слышно было только, как булькает водка, переливаясь из бутылок в граненые стаканы, как кто-то тихо говорит: Ну, будем, эти их всех... С праздничком!

«С праздничком» говорилось не без едкости, но не зло, а как бы опущенно безнадежно. Тысячелетние рабы давно уже не страдали от ошейников, не реагировали на пинки и окрики, а от массовых мероприятий и зрелищ, устраиваемых властителями для демонстрации их ничтожества, научились получать удовольствие.

Чеканный марш кремлевских курсантов, «победителей социалистического соревнования среди воинов», рабочие люди прокомментировали так: Во как идут, касатики... Сапог к сапогу... Победители... Сволота...

Иван сказал в полголоса: Заебись, вока! Без эмоциев шпарют. Как меха у баяна. С хрустом идут, как по костям. Их бы за баранку посадить, посмотрели бы мы... Кто-то отозвался: Ваня всех за баранку своего сто восьмого посадить хочет. Следующая остановка Киевский вокзал.

...

После окончания парада Иван и Митрофан поднялись на лифте на девятый этаж. Прошли в свою комнату. Открыли банку сайры в томате и начали давить второй пузырь.

После праздничного обеда пути соседей должны были разойтись. Иван хотел навестить одну из своих пассий – крановщицу Мотю из Челябинска, могучую бульбоносую женщину с рябым квадратным лицом, живущую в рабочем общежитии где-то в районе метро Полежаевская. Собирался надеть свою замшевую куртку и обновку – мягкие бежевые ботинки.

А Митрофан хотел соснуть, а затем заняться чтением своего учебника.

Судьба, однако, распорядилась иначе.

Уже через несколько часов их тела лежали в судебном-медицинском морге на улице Цюрюпы.

...

Поверьте мне, дорогие читатели, описывать то, как они туда попали, не доставляет мне никакого удовольствия. Мне искренно жалко этих работяг, провозглашенных гегемонами советского общества, а на самом деле презираемых и партийной номенклатурой и интеллигенцией париев. Я жил той же жизнью, что и они. Смотрел на тот же двор. Покупал ту же дрянную колбасу «по два двадцать», тот же синеватый творог «в гондоне» и ту же перловку в том же ясеневском универсаме, дышал тем же отравленным выхлопными газами воздухом, ездил на работу в тех же переполненных автобусах и в вонючем метро, что и они. Много раз заходил в общежитие «Серый сокол», чтобы обменять там краденый на работе спирт на различные, необходимые в домашнем хозяйстве, вещи – выключатели, краны, замки, доски, цемент, оргалит, алебастр, краску, эбокситку и прочее. Видел там и иванов и митрофанов и, хоть и опасался по вечерам, что кто-нибудь из них хрястнет меня чем-нибудь тяжелым по голове, просто так, от избытка чувств, но общий язык находил с ними гораздо быстрее, чем с высоколобыми и чванливыми коллегами по научно-исследовательскому институту.

Понимал, что разница между мной и ими – причуда судьбы, случайность, что я запросто мог бы оказаться на их месте, родился я не в привилегированном московском доме в семье ученых, а где-то в глухой провинции – в Армавире или Актюбинске...

Прежде чем продолжать мой горестный рассказ, я, в интересах истины, хочу вернуться к тому моменту, когда Иван и Митрофан, прихватив с собой водку, сало и маринованные головки чеснока с Черемушкинского рынка, удивительно кстати похожие на небольшие перламутровые полумесяцы, вышли из своей комнаты и направились пешком вниз по лестнице, даже не вызвав общежитский лифт, в кабину которого с трудом втискивались трое нормальных мужчин.

Как только говор Ивана и шаркающие шаги ленищегося поднимать ноги Митрофана затихли, дверь в комнату дяди Урмы беззвучно открылась и оттуда, удивительно мягко и легко для своего возраста, выпрыгнул самопровозглашенный старичок-кряшен. По-воровски оглянувшись и убедившись, что входная дверь заперта, он изящным движением отодрал от

четырехугольного отверстия, в которое должна была войти защелка английского замка, приклееную к нему крохотную деревяшечку, открыл дверь в комнату Ивана и Митрофана, шмыгнул туда, мгновенно нашел опытным взглядом Иванову обновку, спрятанную под одеяло, вынул ее оттуда, положил на место ботинок Иванову старую рубашку, свернутую в трубу, завернул Ивановы ботинки в принесенное с собой с преступными целями цветное махровое полотенце и тут же покинул комнату соседей. Захлопнул за собой дверь. А через минуту покинул и квартиру. Дверь в свою собственную комнату дядя Урма предусмотрительно оставил чуть-чуть приоткрытой.

На лестничную клетку он вышел в домашней одежде, поверх которой накинул старый пиджак, на голову натянул засаленную спортивную шапочку, похожую на тюбетейку, а под мышкой нес небольшую матерчатую сумку, на которой было грубо напечатано изображение улыбающейся девушки с гитарой. С этой сумочкой Урма вышел на холодную улицу, протрусил по ней метров двести и зашел в подъезд кооперативного шестнадцатиэтажного дома, поднялся на лифте на одиннадцатый этаж и позвонил в квартиру номер 265. Открыла ему какая-то женщина, по виду – тоже татарка. Ей он что-то сказал по-татарски и подал сумку. Сумку женщина приняла и исчезла. А еще через две минуты дядя Урма уже сидел в Красном уголке, недалеко от Ивана и Митрофана и вместе со всеми смотрел парад на Красной площади. После окончания парада дядя Урма наверх не пошел, а поболтал с людьми, а потом потихоньку ушел к своей татарке в шестнадцатиэтажный дом и заночевал у нее.

...

Иван заметил пропажу обновки не сразу. Приятели сидели на своих кроватях, между которыми они поставили тумбочку. Вторая поллитра была уже пуста. На тумбочке лежали остатки ржаного и пустая консервная банка из-под сайры с несколькими красными каплями на сверкающих металлических внутренних сводах.

Иван захотел полюбоваться на обновку, откинул одеяло, но вместо «Саламандера» обнаружил там собственную грязную рубашку, которую давно было пора постирать.

Поначалу Иван только тупо смотрел на рубашку, потом развернул ее зачем-то,

по-видимому надеясь, что ботинки как-то в ней затерялись. Из нагрудного кармана рубашки посыпалась на кровать мелочь. Иван сгреб ее и засунул в карман брюк. Деньги эти он украл в квартире армянина Назаряна. Монетки лежали в вазочке для конфет и Иван прихватил их по дороге в ванную, когда хозяин был на кухне.

Забыв про мелочь, Иван уставился на ни в чем не повинного Митрофана. А тот даже не понял в чем дело. Лег на кровать, взял в руки книгу.

Тут Иван завелся. Впал в ярость, в аффект, в бешенство – назовите как хотите. Выбежал из комнаты и, не постучав, ворвался в комнату к казахам. Те сидели по-турецки на полу, в кружок. Посередине что-то курилось. Воняло как-то странно. Иван, теряя голову и сатанея, спросил казахов прерывистым сумасшедшим голосом: Ботинок моих не видели, чурки? Кожа-нубук, спиздили, бляди! Заебись, урою гадов!

И бросился зачем-то на старшего, Бактыбая, здоровенного сорокалетнего быка, с мордой, шириной в таз. Бактыбай поведению Ивана не удивился, и не такое видел в общежитиях, и ударил Ивана тяжелым кулаком в лоб. У Ивана посыпались искры из глаз, он сел на пол и тупо посмотрел на казахов. Разглядел на их лицах глубокое презрение. Понял – не брали казахи его обновки. Вскочил и вылетел из их комнаты. Как ураган ворвался в комнату дяди Урмы. Даже не удивился тому, что дверь была не заперта, и мгновенно раскидал все его вещи. Открыл чемоданы, вытряхнул на пол содержимое небольшого шкафа-пенала. Ботинок своих, естественно, не обнаружил и вернулся к себе.

Подскочил к бедному Митрофану, схватил его за грудки, встряхнул и грозно глядя ему в глаза спросил: Митро, где моя обновка? Где? Где?

Митрофан и ответить не успел, как Иван подошел к окну, быстро открыл его. Страшно скрипнули ручки и петли, стекла задрожали и чуть не вылетели...

В лицо бешеному Ивану ударил холодный и гнилой московский воздух. Иван глянул вниз. Двор зиял ужасной ямой. Покрытая салатovým кафелем стена тянула в бездну.

Через мгновение несчастный Митрофан уже висел головой вниз, лицом во двор...

Обезумевший Иван держал его правой рукой за ногу. Тряс его, поднимал и

отпускал, и скрежетал шальной глоткой и ощеренной пастью.

– Где, где, где, где, где моя обновка???

Митрофан видел под собой уходящее и появляющееся серое небо и качающуюся противоположную стену двора, тоже кафельную, салатovou. Поискал глазами в небе голубей...

Он ничего не отвечал ошалевшему приятелю, только хрипло стонал, когда его голова билась о холодную стену. Инстинктивно дрыгал свободной ногой.

Митрофан был тяжеленек, держать его Ивану на вытянутой руке было трудно.

Бесчисленные окна нашего прямоугольного двора стали с храпом и треском открываться. В комнаты падала противная старая вата, которой забивали на зиму швы. Люди высовывались, жестикулировали, что-то кричали. Кто-то уже вызвал милицию. Услышав во дворе шум, я тоже отодрал длинные белые полосы бумаги и открыл заиндевевшее окно. Увидел висящего вниз головой человека.

Видел я и как Иван неловко дернулся, перегнулся в окно, посмотрел вниз, затем потерял почему-то равновесие и полетел вместе со своей жертвой вниз, прямо на асфальтированную площадку перед домом, незадолго до этого очищенную дворниками от снега.

Слышал хлюпающий глухой звук от удара. Видел два распростертых белых тела. И медленно растекающиеся багровые лужицы.

Митрофану повезло – он ударился головой об острый угол бетонного куба, установленного кем-то для того, чтобы машины не припарковывались слишком близко к окнам первого этажа. Он умер сразу, даже не почувствовав боли. Перед самым концом ему привиделась разодетая почему-то в сиреневые шелка, с изумрудным ожерельем на волосатой шее, женщина-обезьяна Мончичи. Она послала ему своей мохнатой лапой воздушный поцелуй. А потом схлопнулась и исчезла в томной белизне смерти.

Иван умер на полчаса позже приятеля, в машине скорой помощи по дороге в больницу, рыча и воя от страшной боли в раздробленных костях и сломаном позвоночнике. Врач вколол ему морфий и Ивана тоже посетило перед смертью счастливое видение.

По широкой, обтянутой кумачем лестнице, спустился к нему с неба хрустальный розовый Ленин. В прозрачных светящихся руках вождь мирового пролетариата

нес ивановы немецкие ботинки. Подал их Ивану, посмотрел на него ласково и сказал картаво: Носи на здоровье, товарищ!

Иван ботинки прижал к груди и прошептал синеющими губами: Спасибо, Владимир Ильич...